

Люди и книги

И*).

Мережковский.

Его самая характерная черта — отвлеченность. Онъ почти всегда «выѣзъ» жизни, — и этимъ уничтожаетъ возможность настоящего общенія. Въ его присугубленіи, въ особенности наединѣ, человѣку обычного склада не совѣтъ по себѣ: отъ безснаія до конца понять, — не слова, а ихъ устремленіе, — до конца почувствовать и даже повѣрить до конца. Знаешь только, что то, въ чемъ онъ живетъ — область тебѣ недоступная, притомъ не влекущая и не пугающая, а посторонняя, чуждая по составу, какъ воздухъ, которымъ нельзя дышать.

Олиничество Мережковского въ русской литературѣ этимъ вѣрнѣе всего объясняется: странно, что онъ имъ какъ будто тяготится и не видитъ его естественности, его неизбежности. Наше «захолустье», о которомъ онъ иногда съ грустнымъ презрѣніемъ, махнувъ рукой, говоритъ, тугъ не при чемъ. Вездѣ было бы то же самое. Человѣкъ не узнаетъ себя въ обликѣ Мережковского, не слышитъ себя въ его голосѣ. Нѣтъ чувства, что Мережковский пишетъ «за всѣхъ насъ»: онъ пишетъ за себя. — Это не значитъ: для себя — и мы проходимъ мимо, «слепая тлѣну», конечно, но не надѣясь на помощь и не стремясь помочь сами (тутъ — никакой самоувѣренности; читая Толстого, Ницше или хотя бы Блока, именно хочешь имъ помочь, даже и сознавая полную свою беспомощность; ибо въ нихъ — частичка насъ самихъ).

Уже Достоевскій былъ «dégainé», былъ существомъ, вырваннымъ съ корнемъ изъ бытія. Это ощущеніе многимъ зна-

*) См. «Совр. Записки» книга 53.

комое въ наши дни, какъ настоящая «болѣзнь вѣка». Можно по разному его объяснять и находить для него довольно правдоподобныя, хотя все-таки всегда приблизительныя, всегда огрубляющія социальныя обоснованія: это по существу не мѣняетъ дѣла... Если представить себѣ соединительную резинку между «жизнью» и «идеей о жизни», то сейчасъ даже въ среднемъ сознаниі — или, пожалуй, именно, именно въ среднечъ — резинка болѣзненно натянута, до пронзительно-звеняшаго звука при легчайшемъ прикосновеніи, — а иногда уже и оборвалась. Въ этомъ отчасти — причина популярности Достоевскаго, въ особенности его популярности общедоступно-психологической, скорѣй какъ лирика-художника, чѣмъ какъ мыслителя-художника (популярность нервовъ, а не мозга). Но если Достоевскій сейчасъ царить надъ «полміромъ», до абсолютной, тиранической единственности для всѣхъ тѣхъ, кто живетъ какъ бы на вѣчномъ сквознякѣ, то потому, что у него каждое слово еще продиктовано болью (памятью объ отрывѣ?). От звукъ же на боль — самый вѣрный и быстрый.

Мережковскій — это выводъ изъ Достоевскаго, или точнѣе резульатъ Достоевскаго, послѣдняя глава «достоевской» книги. Боли уже нѣтъ, исчезъ даже отзвукъ ея: горячій періодъ кончился. Осталась печаль и холодъ. У Толстого есть персонажъ, кажется, «квадратный и коричневый». По этому поводу, Мережковскій весь голубовато-сѣрый: сѣрый, тусклый — въ слабости, въ «книжности», а въ лучшіе моменты — сіяше-голубой, съ тѣмъ льдистымъ отблѣнкомъ, который въ горахъ — выявляетъ въ прозрачной небесной голубизнѣ. Но ни одной красной жилки, — ничего, что напоминало бы о теплѣ и землѣ.

Кстати: рассказъ о посѣщеніи Мережковскимъ Ясной Поляны, — рассказъ, который я слышалъ нѣсколько разъ. Толстой будто бы, прощаясь вечеромъ, — поетъ общей бесѣдѣ, отъ которой онъ и уже въ дверяхъ, долго-долго, внимательно и пристально, прощально, своими, глубоко запавшими глазами поглядѣлъ на гостей... Мережковскій, въ историческихъ рѣботахъ, очень часто говоритъ «можетъ быть» — и также разсуждаетъ, какъ будто въсего вѣроятія бы и бы истинность. Позволю и я себѣ догадку: Толстой смотрѣлъ на Мережковскаго съ удивленіемъ и даже любопытствомъ, какъ жанинъ, почти сытый художникъ, встрѣтившій что-то такое, чего до сихъ поръ видѣть ему не приходилось. Можетъ быть, безогчетно онъ уже подыскивалъ и перебиралъ эпитеты и описательныя слова Толстой въ гениальной своей обычности, какъ удесятеренный въ жизненной силѣ средній человекъ, изучалъ диковинное ископо-

ченіе, чувствуя неодолимую, тихую, упорную въ немъ враждебность... Не могло быть иначе — по глубокой розни натуръ. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной мифологической гравюрѣ, гдѣ встрѣчается день съ ночью.

Отвлеченность... Въ сущности, слѣдовало бы сказать иначе: отрѣшенность. Только слово это какое-то расплывчатое, досадно «импрессионистическое».

Въ отвлеченности вѣдь обычно подразумѣвается особенность мысли. Отвлеченными принято называть писателей разсудочныхъ, мало считающихся съ непосредственнымъ опытомъ, увлеченныхъ построениями логики и математической игрой выводовъ и выкладокъ. Отвлеченность создается свободой ума отъ вліяній сердца или крови, — и безразличьемъ къ нимъ. Напримѣръ: Декартъ отвлеченнѣе Паскаля («отвлеченнѣе» почти всегда чуть-чуть презираютъ тѣхъ, болѣе животныхъ, болѣе непосредственныхъ, — какъ до сихъ поръ, по декартовской традиціи, нѣкоторые чистые философы полу-презираютъ Паскаля).

Но Мережковскій, конечно, — писатель паскалевскаго склада, да и вообще въ нашей литературѣ настоящей отвлеченности никогда не было. Это достаточно общезвѣстно, чтобы на тему эту распространяться, — и вопросъ только въ томъ, что именно сыграло тутъ роль: наша несклонность, похожая на добровольный отказъ, или наша неспособность къ абстрактному мышленію? Мережковскій — менѣе всего философъ. Книги его — всего менѣе обращены къ мысли. Каждая страницѣа, кажное сужденіе въ нихъ внушены чувствомъ, — и самый стиль Мережковскаго, неизмѣнно ищущій сладости и всегда готовый предпочесть ее точности, выдаетъ природу художника, «артиста», а не мыслителя. Но чувство какое-то безучастное, отдаленно похожее на соловьевское «благодарю Тебя, Боже, что я никого не убилъ и никого не родилъ»... Къ нему то и относится характеристика: отвлеченность, отрѣшенность. Оно смутно витаетъ надъ человѣческимъ счастьемъ, горемъ и страстями, скользитъ — и не задѣваетъ ихъ.

Исторія литературы сохранила о Мережковскомъ ослабленное, не полное представленіе. Казалось бы, онъ весь въ своихъ книгахъ, — больше, чѣмъ кто-либо изъ нашихъ современниковъ, будучи больше любого изъ нихъ литераторомъ... Нѣтъ,

по книгамъ трудно будетъ возстановить тонъ, понятіе для Мережковскаго чрезвычайно важное, какъ для всѣхъ, кто не вполне надѣется на мысль и безотчетно ищетъ окольныхъ путей для постиженія міра. Неоцѣнимую помощь въ расшифровкѣ книгъ Мережковскаго оказываютъ личныя впечатлѣнія и наблюденія.

Помню одинъ вечеръ. Въ сущности, ничего не было такого, что можно было бы передать будущему, какъ свидѣтельство: оттого-то именно и придется исторіи принять все въ этой области на вѣру, что, кажется, она не особенно долюбиваема. Былъ какой-то докладъ, были пренія, и какъ всегда къ концу бесѣды Мережковскій оказался увлеченъ и взволнованъ, будто все сразу пытаюсь говорить, все растолковать и объяснить. Случилось ему процитировать Евангеліе:

«...И возведши Его на гору высокую, діаволь показаль ему всѣ царства вселенной во мгновение времени, и сказалъ Ему діаволь: Тебѣ дамъ власть надъ всѣми этими царствами и слышу ихъ; ибо она предана мнѣ, и я, кому хочу, даю ее. Если поклонишься мнѣ, все будетъ твое».

Какъ онъ это прочелъ! Не могу рассказать, но не могу и забыть. Казалось, слова падали съ какой то огромной высоты, глухія, померкшія, странно и подчеркнута чуждыя обычной лекціонной обстановкѣ, со скучающими дамами въ первомъ ряду. Казалось, текстъ этотъ, дѣйствительно, — какъ утверждалъ Иванъ Карамазовъ, — есть самое мудрое и загадочное, что когда-либо слышали люди... Въ другой разъ онъ такъ же прочелъ «Ангела»:

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна...

— стихи бѣдные и прелестные (прелестные въ младенческой своей, ничего еще не знающей беззащитности). Я тогда же вспомнилъ и понялъ Блока, записавшаго въ дневникъ, что иногда, послѣ выступленій Мережковскаго хочется «цѣловать ему руки». Дѣло вѣдь не въ томъ, что Мережковскій искусный ораторъ и тещъ: дѣло въ томъ, что въ этой родной ему, грустно-холодной, отрѣшенной, безплотной стихіи онъ мгновенно вспыхнулъ и своимъ свѣтомъ ее озарилъ. Одной этой интонаціей «и долго на свѣтѣ томилась она...» онъ какъ бы рассказалъ о Лермонтовѣ все то, предъ чѣмъ безсильно останавливаются критическія статьи или что топчуть они въ нестерпимой патокѣ поэтическихъ коментаріевъ. Дрожь прошла

Конечно, можно возразить: театр, ловкій, тонко рассчитанный ходъ опытнаго актера! Признаюсь, и у меня возникали такія сомнѣнія. Эстрада, ничемное собраніе, никому не нужное, кромѣ насъ самихъ, какъ иллюзія дѣятельности или противоядіе отъ скуки, безконечныя, глупыя пренія, въ которыхъ каждый только о томъ и думаетъ, какъ бы поэффектнѣе прогарцевать передъ публикой, ложь, суета суетъ, пустая, лицемерная забава подъ прикрытіемъ «культурнаго начинанія» на общественно-мистическій толкъ: неужели же, при всемъ этомъ, онъ вдохновененъ всерьезъ, отъ «чистаго сердца»? а если отъ чистаго сердца, то какъ же, коснувшись такихъ высотъ, и потомъ возвратясь домой, у себя въ комнатѣ, наединѣ съ собою, и ужъ здѣсь-то лавѣрно и неизбѣжно «всерьезъ», какъ же онъ все это примиритъ, соединитъ и перпитъ? Если «долго на свѣтъ...», то при чемъ тутъ саль Дебюсси и полемика съ «предыдущимъ орагоромъ»? Или въ другой плоскости: представимъ себѣ Льва Толстого, блистающаго на эстрадѣ.. Невозможно, абсурдъ. Значитъ актеръ? Не знаю. Но во всякомъ случаѣ — не только актеръ. И кромѣ того, актеръ значитъ обманщикъ, — а такіе люди, какъ Блокъ, обманщикамъ рукъ не пѣдуютъ.

Только что написавъ о «внѣ-жизненности» Мережковскаго и разсѣянно перелистывая «Иисуса Невизвѣстнаго», нахожу на первой же страницѣ перваго тома слова:

— Евангеліе стоитъ не рядомъ, ни даже выше всѣхъ человѣческихъ книгъ, а внѣ ихъ: оно совсѣмъ иной природы».

Сознатеіе меня поразило. Прошу читателя повѣрить мнѣ, что это не «литературный приемъ», не эффектъ, заранее подстроенный. У меня не было намѣренія проводить параллель между книгами Мережковскаго и той книгой, которую онъ называетъ «свѣтлою». Не было и желанія толковать о связяхъ евангелистами внѣшней въ его творчествѣ. Близость получилась сама собой.

Съ мыслию, содержащейся въ цитатѣ, согласается не всё. Но характерно, что Мережковскій чуть ли не начинается съ нея свой грудъ. Для него она показательна въ высшей степени. Показательно и то, что всякій споръ съ Мережковскимъ, внутренней, молчаливой или хотя бы даже «эстрадный», непременно сбивается въ концѣ концовъ на бесѣду о смыслѣ и значеніи Евангелія. Пока слово еще не произнесено, споръ остается по-

верхностнымъ, — и собесѣдники чувствуютъ, что играютъ въ прятки.

Мережковскій, конечно, думаль о Евангеліи всю жизнь и шель къ «Исусу Неизвѣстному» черезъ всѣ свои прежнія построенія и увлеченія, издалека глядя въ него, какъ въ точку и цѣль. Иногда бывали зигзаги, со стороны непонятные — какъ непостижимъ, лично для меня по крайней мѣрѣ, послѣдній зигзагъ: наполеоновскій, — но въ сознаниі Мережковскаго они не были отклоненіями. Наоборотъ, все вносило ясность въ единственно-важную тему и подготавливало разсказъ о томъ, что произошло въ Палестинѣ, девятнадцать столѣтій тому назадъ. Нѣтъ писателя, который больше былъ бы односторонимъ, чѣмъ онъ. Ему не приходится для этого ни обуздывать себя, ни бороться со «впечатлѣніями бытія»: жизнь для него не то, что есть, а то, что должно быть... Онъ готовъ повторить: «тѣмъ хуже для фактовъ!», если бы нашель что-либо, не укладывающееся въ его схематически-стройныя историческія догадки. Но никогда ничего такого онъ не найдетъ, — потому, что видигъ то, что хочеть увидѣть.

Удивительно въ его отношеніи къ Евангелію то, что онъ лишаетъ эту книгу ея человѣчности. Чувствую усмѣшку на лицѣ Мережковскаго, но рѣшаюсь все-таки произнести это истрепанное, жалкое, пахнущее девятнадцатымъ вѣкомъ слово... Не случайно, вѣроятно, въ «Исусѣ» съ такой щедростью разбросаны реалистическія подробности: Мережковскій бросаетъ ихъ, какъ подачку, безъ ущерба для себя; ему нужно затушевать основную особенность замысла и онъ съ наибольшей убѣдительностью рисуетъ человѣка, чтобы не такъ пронзительно былъ идущій отъ всего сочиненія заоблачный холодокъ. По виду — близость къ людямъ сохранена. Но Евангеліе больше не за что любить, несмотря на живописные «одуванчики у ногъ» и всю роскошь красокъ. Евангеліе перенесено туда же, въ какое-то вѣчно-недоступное «внѣ», съ замѣной здѣшняго, ничего не рѣшающаго, но чуднаго участія и сочувствія— послѣднимъ окончательнымъ спасеніемъ, непреложнымъ, какъ приговоръ. Чуть-чуть, чуть-чуть еще, — и можетъ захотѣться «вернуть билетъ» христіанству, если только дѣйствительно это христіанство.

«Что я дѣлалъ на землѣ? Читаль Евангеліе».

Одно изъ тѣхъ признаній Мережковскаго, которыя сильнѣе

всего врѣзываются въ память. Одно изъ тѣхъ, въ которыхъ особенно вѣрно и точно звучить его творческій тонъ.

Но развѣ Евангеліе можно только читать? И развѣ можно понять его только читая? Мережковскій, вѣроятно, оговорился: едва ли станеть онъ настаивать, что чтеніе было его главнымъ дѣломъ на землѣ. Не случайно однако оговорился онъ именно въ этомъ, именно такъ... Обыкновенно, торопливыя, ошибочныя сужденія выдаютъ сами себя — небрежнымъ, торопливымъ подборомъ словъ. А это сказано съ длительнымъ отзвукомъ, съ прекрасной и строгой простотой. Очевидно, мысль взволновала — и бессознательно все существо писателя ей отвѣтило: да. Читаль Евангеліе, хотѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, всю жизнь только читать его и думать о немъ. И хотя книга эта требуеть дѣла, и только въ «дѣланіи» исполнѣт раскрывается величіе ея скромности, безсмертіе ея идейной скудости, — ни на что другое, кромѣ чтенія, не осталось ни времени, ни силъ. Книга, какъ бы не воплотилась, не «проросла». Послушный сынъ ни на одинъ день не оставилъ отца — и не пожелалъ, какъ тотъ, другой, блудный, узнать, что творится тамъ, за отцовскими полями и рошами.

Надѣюсь, никто не подумаетъ, что я въ чемъ-либо упрекаю Мережковского. Я только стараюсь его понять. Я ишу, откуда въ каждомъ его словѣ грусть, какъ будто бы безпричинная, — разъ всѣ метафизическія свершенія и гармоніи обезпечены. У Розанова гдѣ то сказано о Мережковскомъ: «мало кто изъ русскихъ писателей принялъ въ душу свою столько печали, какъ онъ...» А Розановъ въ этихъ дѣлахъ толкъ зналъ.

Если бы одинъ изъ первыхъ христіанъ вошелъ въ нашъ храмъ, то «какъ удивился бы, испугался, чуть не заплакалъ бы отъ страха, какъ маленькія дѣти плачуть; какъ не узналъ бы памятныхъ записокъ своихъ, тѣсно, по-арамейски, исписанныхъ клочковъ папируса или пергамента, зачитанныхъ, заплачанныхъ, но какими слезами облитыхъ, какой любовью осіянныхъ, своихъ «Евангелій», въ этой огромной, тяжелой, почти неразгибающейся, въ пурпуръ, золото и драгоценныя камни закованной книгѣ, въ нашемъ церковномъ Евангеліи!»

Опять слова, которымъ — по внутреннему напѣву ихъ — трудно сопротивляться. И опять вслѣдъ имъ — недоумѣніе.

Можно было бы предположить, что Мережковскій одушевленъ желаніемъ «расковать» Евангеліе, снять съ Христа золотыя, тяжелыя ризы. Можно было бы предположить, что ои-

ступаетъ онъ въ глубь вѣковъ, къ «тѣсно по-арамейски испи-
саннымъ клочкамъ папируса» ради личной свободной встрѣчи
съ Учителемъ, — или такъ, какъ отступали нѣкоторые благоче-
стиво-скептическіе вольнодумцы... Но этого нѣтъ. Это Мереж-
ковскому предѣльно-ненавистно. Если бы дать ему власть да
костры подь руку, онъ не дрогнувъ послать бы на костеръ
всѣхъ Ренановъ и Штраусовъ, со Львомъ Толстымъ въ прида-
чу: «ad maiorem Dei gloriam». По настроенію Мережков-
скій глубоко церковенъ. Въ міръ, по разумѣнію его, дѣйстви-
тельно божественный планъ. Исторія разыгрывается какъ мисте-
рія. Роли распределены. Безформенно-текучій потокъ бытія
только по внѣшнему виду безформенно текучъ: въ дѣйстви-
тельности все организовано. Дѣло Ученія безконечно менѣе
важно и значительно, нежели дѣло Спасенія, — и во всякомъ
случаѣ, само по себѣ, въ отрывѣ отъ искупленія и воскресенія,
остается одной изъ тѣхъ земныхъ, смертныхъ вещей, къ кото-
рымъ привязаться всей душой можно только по недалевою
моральной сентиментальности.

Церковь рѣдко заходитъ такъ далеко. Церковь уклончи-
въе, осторожниче, — скрочише. Но разногласія Мережковскіе
го съ ней — болѣзненно, я думаю, ощущаемыя на обѣихъ сто-
ронахъ, — это «домашній споръ». Мережковскій хочетъ имено
утвержденія церкви, онъ внушаетъ ей увѣренность въ самоѣ
себѣ. Онъ предлагаетъ ей новые догматы. Онъ сулитъ ей все-
ленскую власть.

А какъ же все-таки съ тѣми, арамейскими списками? Уцѣ-
лѣетъ ли сіяніе ихъ, пробьется ли сквозь новыя ризы, хотя бы
и «вселенскія»? Конечно, съ точки зрѣнія вѣрующихъ — безъ
оттѣнка «помоги моему невѣрію», — вопросъ пустой и кощун-
ственный: церковь необходима; она одна только хранитъ бла-
годать, преданіе, вѣрность... Но сейчасъ такое время, что едва
ли христіанинъ спокоенъ за будущее. Далекія, грозныя бит-
вы смутно мерещатся ему. Голоса перекликаются все слабѣе,
безразличья повсюду все больше. Чась приходитъ бросать ба-
ластъ, собирать послѣднія силы. Достоевскій уже предчувство-
валъ это, говоря, что папа выйдетъ изъ Рима нишъ и босъ —
и опять пойдетъ проповѣдывать «благую власть». И вотъ тутъ,
то, пожалуй, Евангеліе, безъ пышной догматики, безъ всѣхъ
многовѣковыхъ, тончайшихъ метафизическихъ влохноленій,
оплетшихъ его, одно, въ безсмертной простотѣ своеѣ, еще сп-
служитъ христіанству послѣднюю службу. Догматы можеть
быть и нужны: навѣрно даже нужны, если изъ-за нихъ зомби-

кали такі бури, такі распри. Но они нужны только, если останеся главное. А сейчас вопросъ — останется ли главное?

Мережковскій постоянно вспоминаетъ Смердякова. «Нрѣ неправду написано...» Кто колеблется — Смердяковъ. Кто сомнѣвается — Смердяковъ. Кто взвѣшиваетъ въ священномъ текстѣ каждое слово, не довѣряя ни религиозной, ни поэтической интуиціи — Смердяковъ. Адольфъ Гарнакъ, человѣкъ огромной учености и предѣльной научной честности, сказалъ: — Жизнь Иисуса Христа не можетъ быть написана.

Мережковскій еле-еле удерживается, чтобы не обозвать Смердяковымъ и его. Нѣтъ для Мережковскаго большаго удовольствія, чѣмъ позабѣваться палъ человѣческимъ разсудкомъ, надъ «малымъ разумомъ», которому противопоставляетъ онъ «мудрость», всегда готовую на любую сдѣлку съ фантазіей... Очевидно, человѣкъ сотворенъ Богомъ — весь, кромѣ разума. Разумъ данъ человѣку дьяволомъ.

Впрочемъ, споръ это старый. Если я вспомнилъ о немъ, то лишь потому, что въ излюбленномъ ругательномъ словечкѣ Мережковскаго есть какое-то высокомеріе, граничащее съ жестокостью къ людямъ. Онъ отвѣтитъ, можетъ быть, что дѣлаетъ выборъ между Христомъ и врагами Его, и что въ этомъ раздѣленіи — терпимости мѣста нѣтъ... Что же согласимся, допустимъ! Если такъ, то по своему Мережковскій правъ. Но вѣдь все-таки привлечъ онъ хочетъ человѣческія души къ Христу, а не оттолкнуть: неужели же не видитъ трудности вѣры въ наши дни, горестной ея недоступности для многихъ искреннихъ и природно-религиозныхъ людей? «Умъ ищетъ божества, но сердце не находитъ». Если начать браниться, то прекратятся и поиски.

Умъ не виноватъ въ томъ, что онъ теперь «малый». Не всегда и не у всѣхъ склоненъ онъ къ пустымъ придиркамъ. Отъ сомнѣнія ему радости меньше, чѣмъ полагаютъ хулители его. Камнемъ лежитъ иногда сомнѣніе на человѣкѣ, — но снять камень человѣкъ не въ силахъ. Если бы это было такъ просто: «не хочу больше сомнѣваться, принимаю легенду за достоверность, вѣрую въ чудеса и таинства, — и перестаю быть Смердяковымъ!» Но одного желанія мало. Умъ еще можно бы убѣдить, но остыла кровь для вѣры, — и какъ-то слишкомъ свѣтло сейчасъ въ нашемъ мірѣ для открытаго и общаго исповѣ-

данія метафизическихъ тайнъ. Оттого-то христіанство и въ опасности.

Но не всё «Смердяковы» — дѣйствительно Смердяковы

Ну, хорошо, согласимся и съ тѣмъ, что христіанство — не только мораль.

Да, не только. Но вѣдь все-таки — оно и мораль. Учитель училъ не напрасно.

Отчего же Мережковскій радуется всякому поражению и срамленію этой морали, ликуетъ всякій разъ, когда крови отвѣчае кровь и злу зло? Отчего такъ мило его сердцу насилье, въ оправданіе котораго приводитъ онъ двусмысленный, неясный текстъ? Отчего, напримѣръ, стала предметомъ его постоянного глумленія незадачливая женеvская Лига Націй? Плохо она работаетъ, но все-таки работаетъ на миръ, а не на войну. — и казалось бы, миръ лучше войны. Отчего съ такимъ упорствомъ рассказываетъ онъ про то, какъ Христось выгналъ торговцевъ изъ храма и какъ свистѣлъ и извивался въ рукахъ его хлысть? Какъ могъ вообще Мережковскій написать эту главу «Исуса Неизвѣстнаго» — «Бичъ Господень», гдѣ есть такіа строки:

«Вѣчная мука всѣхъ честныхъ (!) людей — какъ бы разъ навсегда предрѣшенная въ судьбахъ міра, какимъ то дьявольскимъ промысломъ предустановленная защищенность, неуязвимость, безнаказанность, всѣхъ овладѣвшихъ міромъ негодяевъ, все равно революціонныхъ, мятежныхъ или охранительныхъ. О, если бы знать, что бичъ Господень ударилъ по лицу хоть одного изъ нихъ — какая была бы отрада!»

Обращаюсь къ суду всѣхъ, кто имѣетъ слухъ, кто имѣетъ память, обращаюсь къ самому Мережковскому: эта «отрада» звучитъ такимъ мучительнымъ диссонансомъ, такимъ дикимъ, внезапнымъ взвизгомъ въ истолкованіи евангельскаго текста, что разлада невозможно выдержать. Можетъ быть толстовское «непротивленіе» — не-христіанство. Но и это — навѣрно, навѣрно не-христіанство, въ тысячу тысячъ разъ еще меньше христіанство, нежели то, что проповѣдывалъ Толстой.

Кромѣ того: допустимъ даже, что въ пониманіи Мережковскаго, въ оплетеніи всего того, чѣмъ онъ свою мысль окружаетъ, глава о «Господнемъ бичѣ» соответствуетъ духу Исусова ученія. Смушаетъ все-таки то, что однажды на эту дорожку ставъ, человекъ дѣлается уже неспособенъ отличить, гдѣ бичъ

Господа Бога и гдѣ просто бичъ, никакого касательства ни къ Провидѣнію, ни къ Предустановленной Гармоніи не имѣющіи. Мережковскій говоритъ о «благочестивыхъ глупцахъ и мошеникахъ, о всѣхъ, кто ударившему ихъ въ правую щеку, подставляетъ другую, не свою, а чужую». Даже у него, казалось бы столь страстно и глубоко Христу преданнаго, тутъ, въ этой подозрительно-иронической фразѣ, не столько обиды за «другихъ», сколько заботы о томъ, чтобы вообще никакихъ щекъ не подставлять. Нельзя на этотъ счетъ дѣлать себѣ иллюзіи! И начинается споръ съ Христомъ, — совершенно такъ же, какъ въ соловьевскихъ «Трехъ разговорахъ», гдѣ набожный, но какъ будто сошедшій съ ума, ослѣпшій, оглохшій авторъ не видитъ и не понимаетъ, съ Кѣмъ, собственно говоря, онъ черезъ голову Льва Толстого такъ изящно, остроумно и блестяще полемизируетъ. «Передъ пастью дракона Крестъ и Мечъ одно». Пижалуи! Бѣда то только въ томъ, что едва человѣкъ это произнесъ, драконы начинаютъ ему чудиться всюду, — и мечъ онъ уже оставляетъ при себѣ: «на всякій случай», такъ сказать.

Вѣрите всего оцѣнить можно слова по отклику, который они вызываютъ. На прославленіе бича какъ и на предложеніе соединить крестъ съ мечомъ, немедленно отзываются, конечно, всѣ истомившіеся, изголодавшіеся по «кровушкѣ», всѣ любители боевъ и пожаровъ, всѣ эстеты исторіи и вѣры константино-леонтьевскаго склада, а за ними тянутся и другіе волки, помельче, потрусливѣе, чуюшіе, что и имъ будетъ чѣмъ пожитись. Безъ опрокинутыхъ столовъ и хлыста христіанство для нихъ прѣсно, мертво и скучно.

У Розанова въ «Темномъ ликѣ», — котораго къ сожалѣнію нѣтъ у меня подъ рукой, — помѣщено чье-то письмо, написанное вечеромъ, подъ Свѣтлое Воскресеніе. Письмо трепетно-грустно. Помню одну фразу — о «бѣлыхъ платьицахъ, изъ которыхъ такъ скоро вырастаютъ». Пишущій знаетъ, что сейчасъ запоютъ заутреню, будетъ ясная, весенняя ночь, люди соберутся въ церковь для прославленія величайшаго чуда, будутъ пылать свѣчи, будутъ бѣлѣть эти милыя дѣвическія «платьица»... А чуда не было. Надѣяться не на что. Впереди только смерть.

Есть ли среди современныхъ вѣрующихъ христіанъ люди которые знаютъ это искушеніе: «а если не было?» Должны бы вѣроятно быть. Думаю больше: послѣдній оплотъ христіанства

— именно тѣ, кто не только этотъ вопросъ себѣ предложилъ, но уже не колеблется и въ отвѣтъ на него. Послѣдніе друзья Иисуса — тѣ, кто втайнѣ, наединѣ съ самимъ собой, уже согласенъ на безкорыстнѣйшій подвигъ: на сохраненіе полной, безоговорочной вѣрности Ему, даже если бы пришлось отказаться отъ самыхъ дорогихъ надеждъ христіанства, даже если бы надо было признать, что нѣтъ въ христіанствѣ той побѣды надъ смертью, которую оно утверждаетъ.

Мережковскій дѣлаетъ это предположеніе, называя его — по несотъемлемому праву вѣрующаго — «кошунственнымъ и недѣлимъ». Но многомъ тогда — какъ это ни удивительно и непостижимо! — евангельское ученіе становится для него «безуміемъ», и онъ признаетъ необходимость согласиться съ Ренаномъ, что жизнь Христа есть «роковая ошибка» и что «Величайшій въ мірѣ такъ обманулъ себя, какъ никто никогда не обманывалъ». Въ сущности, Мережковскій предъявляетъ Иисусу страшный ультиматумъ: быть Богомъ. «Если Ты не Богъ, Ты ничто» — какъ бы говоритъ онъ Ему. Отъ людей онъ требуетъ вѣры непоколебимой, какъ знанье. А тѣхъ, кто готовъ умереть съ Воскресшимъ, прокликаетъ, какъ предателей и отступниковъ.

Понстинѣ, позавидовать можно такой твердости. Отъ размѣровъ ставки въ этой игрѣ на жизнь и на смерть захватываетъ духъ.

Но если все-таки... если... неужели «безуміе»?

Тема уводитъ отъ автора. Надо къ нему вернуться, — какъ ни жаль «тему» оставлять.

Я предупреждалъ уже, что эти замѣтки ни на какую систематичности или полноту не претендуютъ. Портрета или характеристики въ нихъ нѣтъ. Нѣтъ, конечно, и попытки дать оцѣнку. Мережковскій запечатлѣнъ въ нихъ не какъ писатель, имѣющій такія-то историческія заслуги, прошедшій такой-то творческій путь и имѣющій право на такое-то мѣсто въ русской литературѣ: нѣтъ, я попробовалъ представить лишь отраженіе его въ иномъ сознаніи. Безъ исторіи, безъ роли, подчеркиваю еще разъ: только какъ «творческій фактъ, воспринятый въ данное мгновеніе».

Оттого — разногласія и расхожденія. Въ «данномъ мгновеніи» все, что не вполнѣ твое, мѣшается, и только въ будущемъ или прошломъ, въ воспоминаніяхъ или надеждахъ, происходятъ

соединенія и примиренія. Но мнѣ хотѣлось бы однако написать еще нѣсколько словъ: въ ограниченіе разногласія.

Часто, думая о Мережковскомъ, споришь съ нимъ. Часто бываешь къ нему несправедливъ. Иногда дѣло доходитъ даже до того, что даешь себѣ слово духовно разстаться съ нимъ «вѣчнымъ разставаніемъ»... Много есть на это причинъ: о нѣкоторыхъ изъ нихъ я только что рассказалъ. Но потомъ вдругъ, въ минуту какого-то внезапнаго проясненія, противорѣча самъ себѣ, понимаешь, чѣмъ всѣ мы — цѣлое литературное поколѣніе, — ему обязаны и что вообще есть въ немъ единственнаго. Какъ бы объ этомъ внятно, понятно сказать?

У Брюсова въ раннемъ дневникѣ есть такая запись. Позвали его московскіе литераторы на товарищескій обѣдъ. Брюсовъ былъ молодъ, неопытенъ. Думалъ, литературный обѣдъ — значитъ и бесѣда литературная, во всякомъ случаѣ такая, въ которой соблюдено будетъ человѣческое достоинство. А тамъ началось: «ну, батенька, хлопнемъ еще по одной, съ селечкой-то... за ваше, за драгоценное... а вы про попа наше го исторію-то слышали: приходитъ попъ... да что попъ! я дорогой вамъ лучше расскажу... ха-ха-ха, уморили, родной мой, уморили... хаха-ха... а еще этотъ-то анекдотецъ слышали? ...хахаха — ха-ха-ха...» Брюсовъ ушелъ потрясеннымъ. Это мелочь, конечно, — и можетъ быть тѣ московскіе литераторы были прекрасные люди и вовсе не плохіе писатели. Но вотъ что дорого въ Мережковскомъ: онъ на такомъ обѣдѣ не могъ бы присутствовать — или увялъ бы, засохъ бы отъ тоски до его окончанія. Да никогда бы его на такое собраніе и не пригласили! Его «анти-батенькинъ» внутренней стиль такъ рѣзокъ, что широкія русскія натуры, рубахи-парни и души на распашку шарахаются отъ него, какъ отъ огня. Мережковскій — очень русскій писатель, но при этомъ типически-петербургскій, или вѣрнѣе, какой-то монастырскій, уединенно-сѣверный: рѣка, закатъ, часовня надъ склономъ. Ничего размахисто-русскаго въ него не вошло. На всю жизнь онъ остался серьезенъ, замкнутъ и сдержанъ.

Россія осложнилась въ его сознаніи Европой, — и тѣмъ особеннымъ обаяніемъ, которое Европа въ русскомъ преломленіи всегда хранитъ. Среди цѣлага ряда именъ, о которыхъ неизмѣнно думалось «не то», Мережковскій стаялъ, наконецъ: «то». И разные люди одновременно ему откликнулись. Что это было — декадентство, символизмъ? Слова давно отжившія, не будемъ воскрешать ихъ. Мережковскій сберегъ отъ декадентства все, что было его лучшей двигательной силой: брезгли-

вость къ оплотненію, къ «ожирѣнію» души, инстинктивную враждебность къ грубоватой, житейской беззаботности, острый слухъ ко всему, что расплывчато можно назвать музыкой... Последнее, — въ особенности. Если я упомянулъ о благодарности, то главнымъ образомъ она за это — за примѣръ музыкальнаго воспріятія литературы и жизни. Еще — за упорство въ защитѣ музыки. За отсутствіе компромисса въ этой области. За молчаливый упрекъ обыденщинѣ, за донесенную до поэтичныхъ дней духовную несговорчивость въ главномъ. За вѣрность «одному видѣнію», похожую на вѣрность пушкинскаго бѣднаго рыцаря. За вниманіе къ тому, что только и достойно вниманія, за интересъ къ тому, чѣмъ дѣйствительно только стоитъ интересоваться. За разсѣянность къ пустякамъ. За самую отрѣшенность, наконецъ, за грусть, которая «чише и прекраснѣе веселья», за льдистую голубизну.

Я, можетъ быть, плохо пишу все это. Не могу найти нужныя слова, — хотя и знаю, о чемъ именно надо сказать. Но глубоко убѣжденъ, что если бы мнѣ удалось хорошо и отчетливо выразить то, на что сейчасъ я лишь слабо и смутно намекаю, сотни русскихъ людей, пишущихъ и думающихъ, отвѣтили бы мнѣ не колеблясь: да, это такъ. Несмотря ни на кикія разногласія съ Мережковскимъ, — а можетъ быть даже съ тѣмъ большей увѣренностью, чѣмъ эти разногласія имъ самимъ казались бы труднѣе примиримыи. Изъ глубины сердца, безъ посыллага краснорѣчія, въ расчетъ на безмолвное пониманіе, они послали бы ему привѣтъ и поклонъ.

Георгій Адамовичъ.